



Аркадий Васильевич Макаров родился в 1940 году на Тамбовщине. Служил в группе советских войск в Германии. Окончил институт химического машиностроения, работал инженером, мастером и преподавателем в ПТУ. Публиковался в журналах «Наш современник», «Роман-газета», «Подъём», «Аврора», в «Литературной газете», «Литературной России» и др. Автор нескольких сборников стихов и прозы, трех изданных романов. Лауреат многих региональных конкурсов, всероссийского литературного конкурса «Национальное возрождение Руси», сайта «Российский писатель», премии «Кольцовский край». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Аркадий Макаров

СТАРЫЕ ДОМА

Рассказы

ГОРЬКАЯ СЛАДОСТЬ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ

Творчество Аркадия Васильевича Макарова — это фактически реалистическая картина жизни россиян в постсоветские времена. Жизни не приукрашенной, не прилизанной, не вычищенной, словно грунтовка живописного полотна, а такой, которая есть на самом деле. Это оттого, что жизнь глубока и разнообразна своей многосторонностью. Сколько бы писатели ни изображали ее — всегда останется, что рассказывать. И сколько бы они ни трудились — всей жизненной полноты им не охватить: будут представлены только какие-то отдельные страницы жизни из некогда сотворенной Создателем вечной книги бытия.

Рассматриваемые произведения Аркадия Макарова в значительной степени несут на себе отпечаток нового перестроенного времени и литературы его осмысления. Перед нами художник, имеющий личный опыт предъявления своих счетов суровой действительности.

В произведениях Аркадия Макарова нет словословия. Сюжеты и персонажи — это единое художественно-мировоззренческое обращение к читателям, и их нужно рассматривать целостно. Несмотря на сложные жизненные условия, автор раскрывает сущность человека не столько как общественно значимого субъекта, а как средоточие его доброй воли к жизни.

В большинстве рассказов опыт выживания в переломное время пропущен через призму художественного восприятия, жизненного контекста, в котором и осуществлялась судьба всей страны. Читая тексты, замечаешь, что автор выснял для себя вопрос: можно ли сохраниться человеком в нечеловеческих условиях? Энергия его любознательности живет и буквально выплескивается со страниц многих знакомых ему самому историй. И каждое из его произведений не плод авторской фантазии. Их особенность — в простоте и вместе с тем в глубине проникновения в смысл жизни. Автор как живой свидетель и участник истории страны описывает многие ее страницы сурово, дерзко и всегда правдиво. Из множества наблюдений Аркадий Макаров складывает знакомую и объективную картину нашего времени.

Рассказ «Утренняя мелодия» посвящен периоду перестройки, которая «как курица по зерну пошла»; в нем же одновременно звучат и ностальгические нотки по доперестроечному времени, когда в небольших городках было уютно и спокойно. «Большие люди за кремлевскими стенами знали, что делают. На один рубль затраченных средств приходилось девять рублей комфортной жизни государства без военной бойни и катаклизмов. Заокеанские ястребы не осмеливались точить когти, свысока пошатывая на тучную добычу. Как в русской поговорке: хоть видит око, да зуб неймет».

Но перестройка и последующий за ней распад великой державы нарушили эту поступь. Жизнь не слилась с грезой о великом, якобы всемирном благе и, более того, обернулась даже ужасами, увиденными автором и персонажами рассказов.

«Хуже бедности может быть только нищета. Она разлагает волю, опускает человека до уровня плинтуса, откуда видны одни щегольские подметки, прошитые золотыми гвоздочками. Это в широком шаге обнаруживает себя твердая поступь нового времени, где деньги во что бы не стало являются эквивален-

том нравственности и высшей морали. Перед таким знаком равенства опускают головы мнящие себя гордецами хваткие и удачливые».

Это из рассказа «Имена существительные».

На строительных площадках, рабочих местах, организованными ушлыми приспособленцами, мы видим и бывших просоюзных деятелей-пискуновых, ученых-усольцевых, комсомольских активистов прошкиных, учителей-нуриевых и даже генералов.

«Да в отставке я теперь. Пилить бюджет при уральском борове отказался, вот меня и поперли из армии. Хорошо хоть квартиру под Москвой дали. У меня шесть человек детей и четверо внуков, а всех корми — генерал! Разве на пенсию проживешь? Домик в Бондарях продал — купил машинку. “Газель” называется. Бегает пока! Разные продукты по ларькам развозю. Чего смеешься? Думаешь, генералу деньги не нужны? Я вот в полевой форме выступать пришел. Парадную моль проела. Только ордена да медали одни нетронутыми остались. Новую купить не могу». Так говорит о своем житье-бытье герой рассказа «Мой генерал».

В противовес людям, «перебивающимся скромными дензнаками от шабашки до шабашки», не сумевшим приспособиться к новой жизни, автор предоставляет слово и проворным нуворишам типа Иосифа Яковлевича (Яклича), главного инженера треста Укачкина, учредителя банка Рафаила Ефимыча Иванова, чей «капитал жил, где хочешь». «Рафик на работу своих сотрудников смотрел сквозь пальцы, охранная служба не имела четкой инструкции, каждый работал не за совесть, а в прямом смысле, за жизнь... Убийства из-за денег были обычным делом...»

Отношение к войне у Макарова во многом измеряется восхищением героизмом людей в гражданскую и Великую Отечественную («Мой генерал», «Когда б имел златые горы», «Сошедший с пьедестала») и отчаянностью необстрелянных ужасами молодых солдат афган-

кой бойни. Эти войны переплели мирные предметы с оружием, любовь с ненавистью, добро со злом.

Сцены афганской войны особенно ярко описаны в рассказе «Такая короткая жизнь». Судьба солдат предстает перед нами словно средоточие доступных человеку страданий, предел отчаяния. «Стреляй, солдат, первым, вторым тебе нажать курок уже не придется!»

В подаче этих образов Аркадий Макаров предстает перед нами как суровый взыскательный художник с присущим ему личным опытом понимания случившегося. Это понимание лишено сюсюканья и написано законами войны.

В рассказах о детстве А. Макаров попытался посетить тот мир, в который человек чувствовал себя ребенком. Это не только повествование о рождении и общении с внуком («Игры во времени»), воспоминания о детской дружбе и увлечениях («Мой генерал»), но и об уроках жизни, преподанных сыну и внуку родителями («Утин», «Детские молитвы»). В рассказах Аркадия Макарова присутствуют дедушки и бабушки, тети и дяди, которые с высоты своего жизненного опыта предстают мудрецами и наставниками молодых. Они четко знали, что «всякой власти надо подчиняться, лишь бы не мешали косить сено. Такое уже случалось не раз — то красные белых ищут, то белые — красных. Раз-

ве простому человеку разобраться, где она — правда. И те, и эти за крестьян. И те, и эти за Россию. Только одни не изменяли священной присяге, а другие отнесли ее в отхожее место, оболыщенные всевозможными крикунами, возвестившими разрушение мира своей неотложной задачей».

Рассматриваемые произведения Аркадия Макарова — это своеобразный подарок вдумчивым читателям. В них много жизненных мыслей и добрых чувств. Отдельные страницы заинтересованный читатель прочтет несколько раз, потому что они исповедальны, искренни, заставляют думать, любить родные края, природу.

«По всему селу лаяли собаки, наверное, тоже радовались перевозимью. Снег лежал везде: на земле, на заборах, на крышах домов, на деревьях, придавая всему сказочные очертания. С неба спускались белые ангелы и, кружась, забавлялись летящим снегом. Большие белые хлопья ложились на мои руки, ладони, плечи, лицо и ресницы, играя со мной. Я ловил снег ртом, наслаждаясь его родниковым вкусом».

Этот вкус запоминается человеку на всю жизнь. В нем теплится и благодарение Создателю за подаренную жизнь, и ощущение сладости соленых прожитых лет.

Светлана ДЕМЧЕНКО

Старые дома, как и старые люди, больны скопидомством и потерей короткой памяти. Что было вчера, они забывают напрочь, а вот что случалось давным-давно, помнят обязательно.

Но пока они — и дома, и люди, — сутулясь, противостоят напору сквозного ветра перемен, то можно отыскать в каждом шкафу по скелету и на каждом чердаке по домовому, если покопаться.

Но это если хорошо покопаться.

А молодежь не любопытна и страдает отсутствием терпенья. Ей подавай все и сразу, желательно в яркой упаковке, чтоб зажигать на местных тусовках, чтоб поприкалываться, чтоб весело было.

Но в жизни весело бывает не всегда.

Как-то давным-давно, после окончания института химического машиностроения, мне довелось работать начальником участка объединенных котельных в городе Тамбове.

Работа, надо сказать, мерзопакостная. Износ тепловых сетей и оборудования более 70 процентов. Технологические колодцы забиты всяческой дрянью, полузатоплены, тепловые камеры в горячей испарине, протечки достигали критического уровня.

Бригада ремонтников никогда не просыхала как от водки, так и от фонтанирующего из труб кипятка.

Короче, котельные обогревали больше улицу и траншеи, где проложены изъеденные коррозией трубы, а жизнь в близлежащих домах меркла и скукоживалась от вечного озноба и простуды. Поэтому все ответственные конторы были завалены жалобами на плохое обслуживание жильцов теплом.

На такую работу уважающей себя инженер никогда не пойдет — проблем выше крыши, поэтому меня с подозрительной готовностью сразу взяли в начальники разваливающегося участка.

А у меня ни опыта, ни знаний в такой области, как теплотехника, одна только агрессивная самоуверенность недавнего середнячка студента.

Была, была в этой работе одна отрада и отдушина — женщины. Операторы котельных. Сто пятьдесят человек самого надежного возраста от 18 до 60 лет. Если отбросить тех, которым за сорок, то в сухом осадке остается где-то сорок-пятьдесят молодых, незамужних, в меру красивых и в меру уступчивых своему новому начальнику женщин. Успевай поворачиваться! А вертеться приходилось невозможно. Я только успел жениться, а здесь — хлеба вольные!

Работа операторов суточная, вот они от скуки и домогались моего внимания, особенно в ночную смену. Только угомонишься в кровати, сладко закачаешься во сне, а тут — на тебе! Дежурный диспетчер с бригадой ремонтников машину за тобой прислал: в одной из котельных в нагнетающем воду насосе сальник протек. Ты — начальник, вот и действуй! Обучай своих баб ключом работать, гайки под болты подгонять! Азы слесарного дела на видном месте вывешивай!

Написал, вывесил.

А тут снова диспетчерская машина под окном сигналит: обмуровка котла от газозвушной смеси в щепенку пошла. Запальник в топке еле тлел, а в газовой горелке свич был. Вот взрывная смесь и сработала. Вот и хлопнуло. Хорошо, что в это время операторша в душевой комнате была, на ночь в порядок себя приводила, а то бы гибели на посту не избежать — операторшу в морг, а начальника в наручники.

Потом опять какая-нибудь очень уж впечатлительная дурью к третьим петухам маяться зачнет: звонит сама домой и томным голосом выпевает мое имя отчетливо, а жена трубку возле уха держит.

Той дурехе — потеха, а мне — скандал в доме.

Такая вот была «се ля ви»!

Но я не про любовь воровскую, когда с оглядкой делаешь свое дело, а про один старый дом хочю рассказать.

Как обычно, профилактический ремонт трубопроводов к зиме делают летом — по той же самой поговорке, что и сани.

Одна из моих устаревших котельных была закрыта на модернизацию.

Дом, в подвале которой находилась эта самая котельная, подлежал сносу из-за ветхости, а рядом уже готовилась площадка под новую модульную установку, которая экономичнее и надежнее старой. Поэтому надо было срочно менять всю схему трубопроводов, чтобы, согласно проекту, выданному в производственном отделе, обеспечивать теплом и горячей водой жителей небольшого района: всего несколько домов да детский садик.

Демонтаж старых труб (запас карман не трет, лишними трубы никогда не бывают) решено было начинать со списанного, старого, времен фабричной застройки-ки двухэтажного дома, порядком пожившего на этом свете.

Дом был построен еще в середине двадцатых годов прошлого века из шлаковых блоков для рабочих местного паровозного депо.

А тогда строили, как и теперь: шлак вольный, а на цементе можно и сэкономить. Дом осыпался, поэтому через несколько лет рабочим дали квартиры в кирпичных домах, а этот, барачный, был приспособлен под общежитие для нахлынувших в город из ближайших сел строителей. Город рос и ширился. Индустриализация. Возводились новые заводы.

По утрам во всю мочь призывно горланили заводские и фабричные гудки, возвещая начало нового трудового дня.

«Вставай, не спи, кудрявая! В цехах звеня, страна встает со славою на встречу дня...» — так, кажется, писал один из лирических поэтов того времени.

Приезжий люд был вполне доволен условиями жизни. В деревнях повальная антисанитария, а здесь — и душ, и отопление. И кухня — хотя и общая, но зато не примус с керосинкой.

Печь на кухне каменным углем истопник с утра протопит так, что и вечером чайник кипятком исходит. Живи не тужи. Только работай. Ты же пролетариат, гегемон, в этом оркестре твоя первая скрипка.

Все было примерно так, хотя и не всегда и не везде.

Говорили даже, что здесь доживал свою старость один вернувшийся из Соловков столетний умник, бывший батюшка, не сумевший после революции сгорннуться от русскоязычных комиссаров, впавших разом в кровожадную антирелигиозную ересь.

Но не будем вдаваться в политику, она не для трудового ума.

Теперь дом нехотя давал временный, как тогда казалось, приют маргиналам всех национальностей. Братья по разуму, братья по классу. Очень уж шумные собирались компании. Пили водку в меру и без меры. Когда напивались, то рьяно дрались, иногда доходя до поножовщины. Буйных по-своему уговаривали в милиции, и они возвращались нескоро. Потом все начиналось сначала.

Дом по вечерам ворчал в отопительных трубах, сердито шебаршил на чердаке ветошью. Осенними, промозглыми, тяжелыми для рабочего люда деньками плакал, пускал по чумазому лицу слезы, даже и не пытаясь их вытирать.

От ветхости и от буйного нрава обитающего в его чреве народа стены еле держались, сорили на полу ржым колючим шлаком, и тогда надо было по оштукатуренной поверхности клеить обои, да и не в один ряд, а то невзначай ткнешь пальцем — и дыра на улицу. Хоть приглашай секту дырников молиться на белый свет через эти дыры.

При временном послаблении властей обитатели дома женились, заводили детей, разводились и снова женились, хотя жили в одной комнате по три-четыре человека, и вся семейная жизнь с ее любовью и скандалами проходила на глазах привыкших и не очень любопытных поселенцев. Сам знаю. Сам помню.

Скушно не было.

Но время неумолимо. Как сказал другой поэт: «Я знаю, время даже камень крошит...» А здесь не камень, а паровозный шлак вперемежку с цементной перхотью. Дом одряхлел. По стенам, особенно по углам дома появились извилистые глубокие морщины, из которых по малейшему прикосновению пальца густо осыпался все тот же ржавый шлак, больше похожий на окаменевшую гречневую крупу.

«Все! — сказали в горисполкоме. — Пока беды не случилось, эту богадельню надо ликвидировать. Муравейник, понимаешь ли, развели!»

Пока бумаги, то да се, жильцов пока переселяли, «овнов» семейных по дальним углам раскидывали, а «козлищ», то есть холостых, на вольную волю отпускали, лето, как говорится, уже на юг с ласточками собралось; вечера стеклянны-

ми стали и зори — красным по бирюзовому цвету, как полупалки с Павлова Посада, горят — глазам больно.

Вызвали меня в управление:

— Давай, начальник, действуй, чтобы к новому отопительному сезону все стояло как надо!

А как надо — то в проектах задокументировано. Схватился я за голову:

— Мать честная! Да тут работы на целый год, а до отопительного сезона пара месяцев осталась.

— Ты сопли подбери! — сказали мне власти. — Враз партбилет на стол положишь!

— Да не партийный я! — начал оправдываться.

— Как не партийный! Кто ж тебя начальником поставил?

— Сам...

— Самее тебя не нашли, что ли?

— Наверно.

— Развели, мать вашу так, партизанщину! Народ с тебя спросит! Иди, не разговаривай! Говорун, понимаешь ли!

Должность не велика, а за живое, как репей за штаны, цепляет. Жить надо. Работать давай!

Собрал я своих зачумелых от сырости и похмельного недомогания горе-рабочих:

— Здорово, мужики!

Хмурятся:

— Здоровее видали! — вытирают рукавами лица.

Я последнее замечание оставил без внимания. Определил порядок демонтажа разводки труб и самой котельной. Новый объект пока не трогать. Разминку на старых трубах делать будем. А там — посмотрим.

Задачу поставил.

— Давай работать!

— Сам давай... Ты молодой...

Но все же пошли мои архаровцы, легонько матерясь, собирать инструмент.

Работу решили начинать с резки труб «верхнего розлива», раскиданных по периметру дома на чердаке.

Чердак набит воробьями, пером птичьим. От этого першит в горле. Голуби засидели потолочные перекрытия так, что за их сухим и хрустким помегом труб почти не видно. Шифер местами проломлен то ли падающими с неба камнями, то ли звездопадом. Решето. Везде пыльные столбы света насквозь пронизывают кровлю, упираясь в птичью известку и разбросанную по ней бытовую рухлядь, накопившуюся за долгие годы. Но зато кругом сухо и можно приступать к работе.

Ребята, пыхтя, затащили в дом газорезательное оборудование: газовый и кислородный баллоны, резиновые шланги с резаком протянули наверх через проем лестницы. Пора начинать. Но кругом сухие брусья стропил, рвань, тряпье, бумаги, подшивки старых газет — все это горит так, что пожарные вряд ли успеют приехать.

Со скандалом: «Начальник, у нас свои брандспойты в штанах!» — заставил принести пару ведер воды, чтобы вовремя затушить то, что может загореться.

Собрал несколько подшивок, сложил их стопкой и присел, прислонившись спиной к вентиляционной трубе. Ночью мне опять не давали спать такие разговорчивые в ночное время на рабочем месте дежурные. Женщины! Что с них возьмешь?

Три вызова за ночь, это уже многовато даже для здорового молодого организма. Спать мне почти совсем не пришлось. Теперь дремота навалилась. Один глаз косит на рабочих, занятых газовой резкой, а другой глаз спит. Говорят, так по ночам дельфины отдыхают.

Чтобы не унусты совсем, стал возиться в бумагах: «Ну что там писали журналисты-сталинисты о временах головокружения от успехов и перелома станového хребта собственничества?»

Так-так-так, читаю: «В нашем паровозном депо станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги рабочие с помощью нормировщиков приняли обязательства производить ремонт колесных пар на два часа короче, тем самым уменьшив расценки на 6 руб. 32 коп. за пару, что поможет сэкономить фонд оплаты труда на 431 тысячу рублей 98 коп. и высвободит лишних ремонтников с переводом на другие работы. Рабкор Сеницын Е. С.»

В другой газете читаю: «Жители тамбовского села Пахотный Угол приняли устав села, по которому каждый селянин до первого января следующего года должен разоблачить и гласно перед всем миром поведать, как раньше перед прислужником мракобесия попом, о своих собственнических, шкурных интересах, о которых он до недавнего времени заботился больше чем об общественных, что не раз пытался повернуть оглобли на свой двор, а не на колхозный». Ну и так далее. А в конце жирным шрифтом восклицалось: «Даешь руководящие указания Партии в жизнь! Вперед к победе колхозного быта! Активист-общественник Алексей Спиридонов».

А вот еще одно сообщение на ломком газетном листе времен агрессивного атеизма: «На пасхальной недели в с. Бондарях Тамбовского уезда состоялся “собор пастырей” всего Бондарского района... Человек 30 пригласили представителей от милиции, ВИК и ячеек РКП(б).

Выбрали благочинного, сделали подписку к “Живой церкви” и постановили “держат тесную связь с Советской властью, принимать горячее участие в проводимых кампаниях, затем организовать кружечный сбор по селу и в церкви в пользу воздушного и морского флота”. Церковный служка Бочаров».

И там же подверстано письмо жительницы того же села:

«Товарищеские письма женщин, окрженотдел.

Из заявления гражданки с. Бондари Пучниной Татьяны Степановны.

“Вот и приходится мне с раннего утра до поздней ночи лишь только сидеть со спицами в руках, глотать вредную пыль от пряжи. Я не могу уделить себе даже время почитать газету или какую-либо книгу, только праздничные дни я посвящаю чтению книг, да и то лишь тех, какие мне позволят мать. Ну и понятно, я “должна” читать какие-либо книги, дышащие старыми вредными пережитками, вроде священных писаний, а интересующие меня политические книги вырываются матерью из моих рук и даже иногда ею разрываются”.

(Просит помочь поступить в г. Тамбов на рабфак)».

Читаю в другой газете, обрывок которой шевелился белым крылом на сквозняке: «БРИГАДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА — бригады, достигшие высокой производительности труда, успехов в учебе и коммунистическом воспитании. Их девиз: “Учиться, жить и работать по-коммунистически”.

Движение Бригад коммунистического труда — новая, высшая форма соревнования, зародившаяся среди рабочих СССР в 1958 году. Идея организации Бригад коммунистического труда была впервые выдвинута 11 окт. 1958 на собрании комсомольско-молодежного коллектива роликового (ныне тепловозремонтного) цеха депо Москва-Сортировочная — Моск.-Ряз. ж.д. 13 октября 1958 года на собрании всего коллектива цеха были обсуждены и составлены “Заповеди коллектива коммунистического труда”, почин депо Москва-Сортировочная нашел широкое распространение.

Члены Бригад коммунистического труда берут на себя обязательства: 1) работать высокопроизводительно, организовано, экономично; настойчиво внедрять новую технику и технологию; применять у себя все, что есть передового, прогрес-

сивного; 2) неустанно совершенствовать свою производств. квалификацию, овладевать марксистско-ленинской теорией, повышать общеобразовательный уровень; 3) воспитывать в себе лучшие качества человека нового общества; быть всесторонне духовно и физически развитым, примером в быту, поведении, отношении к обществ. долгу. В 1959—62 годах движение за звание Бригад коммунистического труда стало всенародным».

Вся эта галиматъя навеяла такую тоску и дремоту, что я широко зевнул, чуть не вывернув челюсть: «Нет, оказывается, живуч дебилизм в народе, что и через полвека в газетах можно прочесть почти то же самое. Одним словом: “Вперед к победе коммунизма!” Почины такие встречались тогда на каждом шагу. Вот и моя контора на днях тоже приняла модный среди руководств Устав членов бригад коммунистического труда, где обобщались вечные Христовы истины и оголтело выдавались за свои, партийные.

Накинув капюшон куртки на голову, я уткнулся в сложенные на коленях руки. Уютно, ничего не скажешь. Но подремать мне не пришлось. Тяжело, с одышкой, в потолочный люк просунулся дедок. Старичок-паучок. Кругленький, лицо в румянце, видимо, уже выпимши. Ручками отмахивается то ли от дыма, то ли от пыли. Чихнул пару раз. Высморкался, вытер тряпицей руки:

— Со здоровьицем тебя!

— Взаимно! — коротко ответил я, не думая вступать в разговоры.

— Дом-то, вы что, никак рушить собрался!

— Ломать будем, — сладко зевнул я в кулак.

— Ну да... Что ж, ломать — не делать! Головка не болит!

Ну дед! Ну одуванчик с пустыря! Старый, а все туда же, хохмит. Сон как рукой смачнуло. Вроде на бомжа не похож. Беленький пушок на голове, лицо пухленькое, но без одутловатости, так свойственной людям, глубоко опущенным жизнью.

Хитроватое лицо, с усмешечкой.

— Ты-то как здесь очутился? Всех уже выселили!

— Как-как! Живу я здесь! Закакал! На, подотрись! — дедок вытащил из-под меня жухлую газету, помял в пухлом кулачке.

— Дед, не хами! Хоть ты и батька (пришел на ум Гоголь), а я тебя, ей-богу, поколочу!

Старичок-паучок так и дернулся всем телом, заморгал глазками, вытащил из-за пазухи чистенькую тряпицу, утерся:

— Вот она, молодежь какая! Непочетники. Страху не ведают. Мне бы тебя как в старину — на вилы, а я с угощеницем пришел.

В маленькой ручке у дедка заплескалась, зазолотела в широком луче света пузатенькая бутылка, судя по рассыпанным звездочкам, коньяка.

— Ну, дед, ты прям волшебник! В лото выиграл, что ли?

— В лото — не в лото, а похоже на то! — заспешил дед, выставляя на груди бумаг два махоньких стаканчика. — Небось будешь? — повернулся он ко мне.

Надо признаться, что на участке, где я вынужден был работать, выпивка входила в обычай, поэтому рабочие не обращали на нас никакого внимания.

— Нельзя, дед, работа!

— Работа не Алитет, в горы не уйдет! — по-свойски похлопал начитанный новый знакомец меня по плечу. — Давай!

А, была не была! Почему бы не выпить? Мне приятно. Старичку приятно! Он, старичок-пучок, весь как маслом протерт. Светится весь:

— Давай, чего ты?

— Даю, даю! — Вот уже и забылась трудовая дисциплина. Вот уже и стаканчик к руке прилип. Выблю небось...

Коньяк и вправду был высшего сорта. Горьковатый, но с привкусом настояще-

го шоколада. Того, советского, твердого как стекло и бодрящего, как бразильский кофе в горячей песочнице. Сон сразу испарился, и захотелось что-то сделать приятное и старичку этому, и своим рабочим, копошащимся в углу с трубами.

— Мужики, перерыв на обед не пропустите! — удивился я сам себе от такого порыва.

— Во-во! Рабочего человека жалеть надобно! Он — авангард мира. Земной шар, как Геракл, на плечах держит. На-ка, закуси! — И подает мне, предварительно вытерев о рукав, большое красное яблоко.

— После первой не закусываю! — храбрюсь я. Недавно посмотрел фильм «Судьба человека», вот и заломил такую крылатую фразу.

— Ну да! Пить да закусывать — зачем тогда пить! — Посмотрел, повертел яблоко в руке и захрустел, судя по всему, крепкими, как голыш-камень, зубами.

Вот это дед! Вот паучок-моховичок! Зубы как у акулы!

— Где такие зубы повставлял? Подскажи!

Дед оторвался от яблока. Закинул огрызок через плечо и растянул в широком оскале рот. Постучал пальцем по передним зубам:

— От родителей такие! Хочешь, вон тот электрический провод перекушу!

— Не, дед! Не выхваляйся! Зачем рисковать? У меня вот тоже сосед был. В семьдесят пять лет по минуте на голове стоял, а потом его параличом разбило. Его предупреждали: «Не выхваляйся, моча в голову ударит!» Вот и ударило.

Дедок, мотнув головой, щелкнул зубами так, как ловят на солнечном припеке шалавые дворняги надоедливых мух. Щелкнул и выплюнул в сторону, как мне показалось, конец электрического провода:

— Давай, повторим! — Чудной знакомец снова плеснул, не глядя, в мой стакан, который сразу стал полным.

Выпили. Посидели, помолчали.

— Ты баб любишь? — почему-то спросил он.

— Дед, а кто же их не любит?

— А они тебя?

— И я их тоже! — отшутился по обычаю я.

— Да... Бабы — это такая живность, что хошь кого к себе приманит.

— Давай за баб!

— Давай! — расхрабрился я.

Снова выпили.

— Ты, я слышал, в писатели метишь?

Откуда этот патриарх узнал мою самую затаенную мысль? Наверное, архаровцы рассказали! Недавно в газете вышли мои боевые стихи о рабочем классе. Целая подборка, которой я несказанно гордился.

— Ну, вроде того... — неопределенно ответил я.

Дедок откуда-то из-под себя вытащил в кожаном переплете старинную тетрадь.

— На вот тебе гостинец! Про попов. Почитай! — протягивает фолиант.

В то время я был молод и тоже не любопытен, но тетрадь все-таки взял: нехорошо разочаровывать такого хорошего человека.

Кожаная обложка тетради была вытерта до самой мездры и была жесткой, как фанера. Повертел в руках:

— Куда ее, дед? С Божьей помощью котельную растапливать!

При упоминании о Боге старичок весь как-то скукожился, померк. Выхватил из моих рук несколько листков:

— Во-во! Топить будем! — и стал поджигать бумагу и бросать горящее пламя себе под ноги.

— Что же ты, сволочь, делаешь? Сгорим! — я кинулся за ним. В горле першило. Жарко.

Сунув тетрадь за пазуху, я кинулся за этим сумасшедшим.

— Не догонишь! Не догонишь! — по-ребячьи вскрикивал он, бегая по чердаку и разбрасывая во все стороны огонь.

Стало нечем дышать. Ворох бумаг, на которых я сидел, уже занялся огнем. Кислородный шланг с ревом извивался змеей, выхаркивая из глотки ослепительные куски горячей резины. На чердаке было нечем дышать, и я, забыв о старике, скатился по лестнице вниз. Там баллоны. Взорвутся. Что делать? Перекрыл вентиль кислородного баллона. Сорвал с редуктора шланг. Баллон в сто килограммов. Взвалил на плечо. Выбежал на улицу. Рабочих никого. Наверное, на обеде в столовой паровозного депо. Далеко. Надо что-то делать! Позвонить в пожарку? Но телефона рядом нет. В стеклах плавилось и горело все, что может плавиться и гореть. И вдруг полыхнуло так, что стекла вместе с рамами вышибло почти во всех окнах. Газовый баллон напомнил о себе. Повторился эффект медицинской банки, или нет, эффект вакуумной бомбы, когда много огня, а затем разряжение воздуха. Дом разом схлопнулся, осыпался, превратившись в огромную кучу золы и песка, из которого был сделан. Остались стоять только искореженные водопроводные трубы с гармошками отопительных батарей — играть конец драмы. Пожарной команде здесь делать было уже нечего.

У меня появились проблемы, которые теперь мог решить только самый большой начальник. Хорошо еще, что рабочих на месте не было. Обошлось без смертельного случая и уголовного преследования. Но вот — старичок... Где он? Остался под кучей обломков и пепла? Или улетел вместе с дымом? До сих пор для меня это загадка.

Сразу же после пожара и обвала дома я был вызван в большой кабинет.

— Ну вот, — сказал начальник, — ты говорил, что там работы на год, а ты за один день управился. Молодец! Я сегодня приказ о твоём награждении подписал. Иди в отдел кадров, ознакомься.

В отделе кадров мне посоветовали больше домов не рушить и вручили новенькую трудовую книжку с приказом об увольнении.

У меня в банно-прачечной котельной, топившейся каменным углем, работала пожилая женщина, бой-баба, дядя Клава, как все её звали. Работала она кочегаром наравне с мужиками и пила с ними на равных. Работа адская в прямом смысле. Как в преисподней. Была на равных с начальством и, как мне казалось, ручкалась с самим дьяволом. Вот ей-то, жалуюсь на увольнение, я и рассказал про старичка-паучка.

— А он похабство какое говорил или богохульствовал?

— Да матерился и все про баб намекал...

Кочегарша, сняв пропитанные угольной пылью рукавицы, радостно хлопнула себя по мощным бедрам:

— Точно, дедушка!

— Какой дедушка? Чей? Ты его знала?

— А какая баба его не знает? Домовой это был! Видит — молодой ты еще, вот и напустил на тебя морок. Шутки у него такие! Чтоб вам жизнь медом не казалась!

БЕЛОЧКА

— Хороша Советская власть, но уж больно она долго тянется, — говорил мой незабвенный родитель, задумчиво помешивая в голландке железной кочережкой рассыпчатый жар от навозного кизяка. Кизяк наполовину с землицей. Горит лениво, но золью, горячей и тяжелой, как песок, много. Хорошая зола. От нее до утра

теплый дух идет. Так бы и сидел у печки, грелся. — Ты-то доживешь еще, когда все кончится, а я уже нет, а посмотреть охота, что из этого выйдет...

У нас на семь человек семьи, слава Богу, есть корова, и навозу за зиму накапливается много, так много, что его хватает почти на целую зиму, если топить им печь только в самые лютые морозы. А в остальные дни можно совать в печь разный «батырь», то есть всякий сорняк, кочерыжки и хворост, собранный по оврагам и берегу нашей маленькой речушки с громким названием Большой Ломовис.

Я пришел из школы. Замерз. На улице мороз крепкий. Снег под ногами твердый, как ореховая скорлупа. Пальтишко мое, перешитое из солдатской шинели, на рыбьем меху. Холод ему нипочем. То есть — совсем нипочем. Гуляет холодина под вытертым сукном, где хочет. Пока добежишь до дома, мороз всего обшарит. Даже под мышки — и туда заберется, зараза!

Сажусь на скамеечку рядом с отцом, сую почти в самый жар руки. От скорого тепла они ломить начинают, и я корчусь от боли. Отец легонько бьет по рукам:

— Рубаху сожжешь!

Рукава у рубашки, действительно, уже дымиться стали. Я убираю руки и засовываю ладони промеж колен. Сижу, греюсь. На плите булькает гороховая похлебка. Горох всегда разваривается долго. Весь нутром изойдешь, пока обедать начнем. Так и сидим с отцом, смотрим в огонь.

У родителя один глаз выбит случайным осколком стекла еще при коллективизации, когда в Бондарях колхозы делали. И он мальчишкой случайно затесался на собрание активистов, по которым какой-то отчаянный хозяин земли своей пальнул через двойные рамы из дробовика. Вот маленькое стеклышко и впилось любознательному подростку в зрачок, навсегда лишив его глаза.

Теперь отец сидит у печки и смотрит в огонь по-петушиному, как кочет, повернув голову. Отец тоже озяб. На плечах у него былых времен овчинный полушубок. У отца грамотенки никакой, а знает он очень много. Обычно все дела наперед рассказывал. Вот и тогда не ошибся.

Кончилась Советская власть как-то неожиданно и разом. Народ впопыхах даже и понять ничего не успел. А кто не успел, тот опоздал. И опоздал, как оказалось, навсегда.

...Встретил своего давнишнего друга. В молодые годы вместе жили в рабочем общежитии:

— Здорово!

— Здорово!

Похлопали друг друга по плечам.

— Как живешь? — спрашиваю.

Друг имеет университетское образование, работал на оборонном заводе военпредом. Проверял на качество гироскопы к ракетам и подлодкам. Умный друг, ничего не скажешь.

Оборонный завод растащили. От кого теперь обороняться? Все вокруг свои. Америка — как брат родной. Правда, теперь — старший брат. А на старшего брата кулаки не сучат.

— Где работаешь?

— В пиццерии, — отвечает друг.

— Ну и как?

— Да ничего работа. Сторожу по ночам. Ужин на халяву. Там у них много чего на кухне остается. Иногда и пивка потихоньку с бочки сжежу. Посплю на столе в зале, а утром — домой. А ты как?

— Ну, я в банке служу. Директором.

Друг делает округлые глаза. Вот-вот повалится набок. Я его попридерживаю.

— Где же ты столько бабок нахватал? Ты ведь на стройке инженером работал.
— Работа работе рознь, — говорю. — Теперь я тоже могу себе кое-что позволить. Запущу руку в мешок с баксами. Вытяну столько, сколько рука прихватила, — и домой несу. Семья рада.

С другом совсем плохо стало.

— Возьми к себе, — говорит. — Я тебе ботинки гуталином чистить буду.

— Не, взять не могу. Все штатные места на сто лет расписаны.

Друг повернулся уходить. Обида смертельная.

— Да постой ты! Давай покурим.

— Не курю! Бросил, — отрезал давний испытанный друг.

— Не злись! Я директор, да только ночной. Также сторожем работаю в банке.

Ты вот хоть пиво задарма можешь хлебать. Сухариками солеными похрустеть, а у меня деньги за семью печатями лежат, и все чужие. В камере бронированной. Знаешь, как в басне: видит око, да зуб неймет.

Теперь оба, довольные друг другом, смеемся.

2

О том, как я работал в охранных структурах, я уже как-то писал.

Одно дело — сторожить мусорную свалку (оказывается, там тоже есть своя охрана), и другое дело — банк, пусть даже и самый маленький. Деньги есть деньги, и они имеют страшную притягательную силу. Особенно большие деньги. Что с этим поделаешь? Неудержимо манит дотянуться до них. Это все равно, что стоишь на краю обрыва или высотной площадки. Заглянешь за край, и тебя так и тянет прыгнуть туда, в пустоту, в полет. Я долго работал монтажником, и такое чувство мне хорошо знакомо. Трезвый ум не пускает за край, но это не у всех получается. Иные так и не могут совладать с искушением.

Так и здесь. Банковское хранилище весьма надежное, чтобы его вот так, в одночасье, одолеть: многоканальные замки, метровой бетон и бронированные двери — надежная защита от любого проникновения. Справиться может только взрывчатка. Правда, в наше время достать пару-тройку шашек тротила не проблема, да и капитализация общества распяляет пагубные страсти. Кто-то послушается трезвого расчета, а кто-то не выдержит и пойдет напролом.

На моей памяти в банке произошел такой случай: окровавленная женщина бросилась на руки охранявшего входную дверь милиционера и умоляла защитить ее от ревнивого мужа, который с молотком в руке грозит ее убить.

— Он здесь! Он тут! — вопит женщина.

Милиционер — бывший афганец. Что ему какой-то бедолага?

— Где он? Покажи!

— Там, там! — показывает несчастная за дверь.

Милиционер — туда, и сразу же получает молотком по голове.

Банк работал. Хранилище открыто. Два мешка денег и автомат ушли за считанные секунды в неизвестность. Женщина вытерла кетчуп с лица, а добросердечный милиционер ушел на пенсию по инвалидности с черепно-мозговой травмой.

Такие вот бывают дела...

За окном моего охранного загончика — глухая, глубокая ночь. Такая глубокая, что уличные фонари уже погашены, отчего ночь становилась еще более тоскливой и глухой. Во всем мире не светит ни одно окно. Только разноцветные огни замысловатого банковского логотипа беспомощной бабочкой, обминая крылья, запутались в строительном мусоре.

Рядом с банком, возле своих денег, построил доходный дом один доморощенный олигарх, вкладчик, у которого денег — как у дурака махорки.

Дом еще не заселили, но весь первый этаж, огромный, как Пентагон, олигарх передал сыну под жилье и офис. Бизнес есть бизнес, и богатенький папа для сына открыл здесь контору что-то вроде «рогов и копыт».

Сын на радостях прилично загулял в своих хоробах, из его окон по ночам часто слышались, иногда до утра, разухабистые, перемешанные с матом песнопения под зарубежную, несвойственную этим песнопениям, музыку. Ежедневные празднества моей тихой работе не мешали. Даже веселее было проводить бессонные ночи на страже чужих денег и семейных, того самого олигарха.

Веселые ночи, но сегодня что-то в окнах дома пусто и тихо, как в глазах у страждущего бомжа, а бомжей в новое время развелось видимо-невидимо.

Сижу, закутанный в ночь как в байковое одеяло, переливая мысли из пустого в порожнее. Мысли эти стекают, стекают дождевой водицей по ржавой сулейке в дырявую бочку.

По своему опыту знаю, что у любого сторожа во время дежурства особо обостряются два чувства — это слух и чувство самосохранения.

Раньше у сторожей была хоть берданка за спиной, а теперь сторожу иметь оружие строго запрещено. Нельзя. Запрещено. Закона такого нет — штатскому лицу с берданкой на посту стоять. Хотя у половины жителей страны любого оружия хоть вагонами увози — от автомата Калашникова до самых современных ракетных установок. Но это ладно. Это дело правоохранительных органов. Вот и я по случаю приобрел газовый револьвер и на свой страх и риск переделал его под боевые патроны. Теперь всегда его потаенно ношу на дежурство. А что делать? Дежурить в банке, это не навозную кучу сторожить, чтобы куры от себя не раскидали. Без оружия у сторожа одна защита — тревожная кнопка вызова милиции да собственные кулаки, на которые надеяться никак нельзя.

У милиции то горючки для машины нет, то вызовов много. А кулаки — какая защита? Для налета на банк требуются люди далеко не преклонного возраста. И мои два мягких, интеллигентных кулачка годны лишь для того, чтобы от страха огородить лицо, когда будут глушить железной битой.

Сижу, гоню время к рассвету. Можно, конечно, поспать, зная, что мое присутствие здесь — что тень на дороге для проезжающего бульдозера: никого не остановит. Спать можно, но как уснешь, когда глухая ночь, а банковское хранилище — вот оно, за стенкой, там денег и на грузовике не увезешь.

Голова клонится, как перезрелый подсолнух в дождливый день, а сон нейдет. Сижу, свет не включаю, от него толку мало, одна резь в глазах, да и с улицы я буду как в телевизоре. Зачем ночь дразнить?

Вдруг спорый, рассыпчатый стук в незарешеченное окно. Прильнул к стеклу. В бликах рекламного света от логотипа — перекошенное ужасом лицо удачливо-го сына того олигарха. В глазах — страх и беспомощность.

— Вызывай быстро милицию! За углом человеку горло режут! Милицию! — кричит он.

В меня с затылка до пяток как железный штырь вошел. Голову не повернуть. Нажимаю тревожную кнопку. Воображение мигом рисует страшную картину изверского убийства. Снова нажимаю красную потаенную кнопку вызова милиции.

Звонит телефон:

— Ну, что там у тебя? — В трубке сонный голос дежурного по центральному пункту службы ВОХРа.

— Убийство возле банка! Человеку голову отрезают! Срочно группу захвата!

— Уже выехали, — спокойно отвечает голос.

Впопыхах я даже не положил в гнездо телефонную трубку. Она лежит на столе и продолжает тревожно сигнализировать. Наконец трубка нашла свое место, гудки прекратились. Человек в окне исчез. «Может, спрятался где», — думаю я.

Прходит минут пять-семь — машины нет, лишь какая-то непонятная возня за стеной и, как мне кажется, голоса: отчаянные и с угрозой.

Ничего себе — ночка!

Хватаю револьвер. Надо спасти человека. Какая на милицию надежда?!

Первым порывом было снять с блокировки дверь и выскочить на улицу, но, вспомнив тот трагический случай с милиционером, остаюсь на месте.

Милиции все нет.

Но вот ночь располосовали огни фар. Несколько человек с автоматами выскочили из машины. Шарят вокруг фонарями. Приехала еще одна машина с мигалкой. Несколько милиционеров оцепили зону возле банка.

Теперь я включаю свет. Из окна видно, как тот несчастный, который звал на помощь, приседая и хлопая себя по коленям, отчаянно упрасивает одного офицера вскрыть железную строительную бытовку, доказывая, что убийца там, в будке заперся и затащил его сына туда же. Сын, может, теперь уже мертвый.

Умоляет:

— Вскройте бытовку! Спасите! Они там!

Офицер ему доказывает, размахивая руками, что бытовка заперта снаружи на всякий замок. Кто их там спрятал?

Но несчастный умоляет, все так же отчаянно приседая и хлопая себя по коленям:

— Я видел! Они там! Сделайте что-нибудь!

Офицер по рации кого-то вызывает. Вскрывать так вскрывать!

Приезжает спецмашина МЧС. Вокруг — толчея людей с оружием.

С тревожными вскриками, выматывающими душу, подъехала машина скорой помощи. Кто-то вызвал самого хозяина, того самого олигарха. Мало ли что может находиться в подведомственной ему бытовке! Его сын сейчас, заламывая руки, ходит кругами возле того места, где спрятались преступники.

Олигарх что-то говорит ему, прижимает к себе, уговаривает.

Два сотрудника МЧС со светящимися нашивками гидравлическими ножницами вскрывают замки. Дверь распахнута, мне это хорошо видно. Света от многочисленных фар много.

В бытовке никого нет. Нет даже инструмента, строители перебрались к другому заказчику. Одним словом — пусто! Светят фонарями по земле, ищут следы преступления. Разгребают строительный мусор...

Приезжает, но уже без гудков, еще одна машина скорой помощи. Выходят медработники. Но теперь это уже мужики в темных халатах. Вдергивают несчастного, вопящего в горе человека в белый с длинными рукавами балахон и завязывают рукава за спиной.

Что они делают? Что делают, сволочи?! Что делают? Не хотят заводить уголовное дело? Во, дожили! Теперь и среди бела дня можно любого резать!

Машины, втянув в себя автоматчиков, разворачиваясь, медленно уезжают. Остается одна машина ВОХРа. В ней мой начальник, капитан службы охраны. Разгоряченный, подходит к двери и говорит пароль, по которому я обязан его впустить. Я открываю все засовы. Впускаю начальника.

— Что? — спрашиваю я тревожно.

— Что, что! Белочка! Горячка у того сынка. Жена забрала ребенка и, плюнув на богатство, сбежала. Богатые тоже плачут. Давай вахтенный журнал, я тебе запишу ложный вызов.

— Как ложный вызов?

— А вот так! — говорит начальник, записывая что-то в журнале. — За вызов бригады МЧС деньги платить надо. Я, что ли, буду из-за вас, ротозеев, премии лишаться? Вот, подпиши бумагу!

— Да ничего я подписывать не буду! Я преступление хотел предотвратить! Что

же теперь: на глазах человека резать будут — и вас не вызывать? Я, что ли, милиционер или медбрат какой, чтобы белую горячку знать! Я до этого предела не напиваюсь. Вот вы тоже что-то в строительном мусоре искали.

— Не твоего ума дело, что я там искал. Мне, может, эти доски с гвоздями для дачи нужны будут. Вот я и шарил. Так не будешь бумагу подписывать?

— Не, — мотнул я головой, — не буду!

— Ну, как знаешь. А платить тебе за прогоны машин все равно придется.

Я посмотрел в окно. Небо уже подергивалось белесой пеленой. Рассветало. Лениво, нехотя вставал новый день, не предвещающий ничего хорошего.

Сменялись эпохи, а власть оставалась та же. Вот и капитан — он ведь тоже власть, а всякая власть, как говорил мой незабвенный родитель, долго тянется...

ВОЛЯ

Жил у нас в Бондарях странный человек по имени Воля. Может, у него кличка такая была, не знаю, но он всегда называл себя «Волей», хотя его неизвестно каких кровей опекунша кликала Валей. Валентин, значит. Так и жили они двое: чужая пожилая женщина, похожая на большую черную ворону в своих чудных широких одеяниях, и приемыш — маленький серый воробышек Воля.

Женщина привезла Волю с собой откуда-то со стороны. Говорили, что она, уходя от немецкого злодейства, остановилась у нас в селе, очарованная малыми «карпатскими» горками за тихой речкой с громким названием Большой Ломовис. Откуда такое название для мелководной реки в центре черноземного края, никто не знал: местные жители запамятовали, а пришлые и вовсе не интересовались. Речка — она и есть речка. Течет, и ладно!

Для нас, мальчишек, речка эта была вроде большого океана, вся жизнь проходила на ее берегу. Там-то мы и познакомились с Волей.

Распластавшись на горячем песочке, он пространно рассказывал о своей прошлой жизни, о скитаниях по поездкам и подвалам на территориях, занятых немцами, о побегах из-под охраны, когда его вместе с евреями вели на расстрел к Бабьему Яру, как он хоронился в придорожной канаве, пока фрицы делали свое дело.

Рассказы его были страшны и живописны так, что и до сих пор вызывают во мне ужас и ненависть к немцам как к нации каннибалов. Я знаю, что это не так, но ничего не могу с собой поделать — память детства несокрушима.

Воля был гораздо старше нас, школьников, чьи жизни обнаружили себя уже после войны или немного раньше. Но Воля почему-то всегда дружил с нами: уже не детьми, но еще и не юношами. Ровесники его не интересовали.

Воля был мал ростом, так мал, что, встретив его на улице большого города, любая мало-мальски сердобольная женщина оглянется беспокойно назад — как без сопровождения взрослых гуляет такой мальчик в толпе пешеходов? Маленькая, узкая головка, стиснутая с боков, вызывала ощущение, что она, голова эта, смятая какой-то чудовищной силой, стала плоской, и даже уши казались приклеенными. В то время ему было не менее шестнадцати-семнадцати лет, но впечатление он производил малолетки. В битком набитом городском автобусе ему бы могли уступить место, если бы не рыжеватая редкая поросль под всегда мокрым носом и на узком клинообразном подбородке.

Воля приходил к нам в школу, подолгу ждал, когда закончатся уроки, тихо интересовался: у кого есть какая-нибудь денежная мелочь, «денег нет, хоть вешайся!», просил одолжить. Потом щедро угощал махоркой, учил крутить самокрутки, поощрял, когда получалось, а когда не получалось — интересно и складно матерился, и предлагал для пробы сделать пару затяжек.

Нам было лет по десять, курить мы не умели, но очень хотелось так же затянуться, картинно выпустить дым из ноздри и при этом не закашляться.

Карманная мелочь водилась редко, курить у нас тоже не получалось...

Для меня и теперь загадка, что могло интересовать Волю в нас, сельских и вполне домашних детях, обыкновенных мальчишках.

Воля был одержим воровской романтикой. Рассказывал о заманчивой, богатой жизни вольных блатняков, о воровском слове, за которое идут на нож, но один раз данное слово обратно не берут. Говорил он медленно, с растяжкой, присвистывая шипящие звуки: «Я фрица на перо как жар-птицу посадил, когда он на мамку вс-собрался...» От этих слов, от этих шипящих звуков становилось как-то не по себе, хотелось убежать, спрятаться, закрыться руками.

Воля в нашей школе не учился. Да и учился ли он вообще, я не знаю. Он как-то говорил, что не школа делает человека человеком, а тюрьма. Во всяком случае, про Робин Гуда он не читал, иначе, хотя и без явных угроз, но всякую карманную мелочь у нас он бы не вымогал своим тихим, с потаенным смыслом голосом. В открытой драке его можно было легко одолеть, но вступать с ним в конфликт никто из нас не решался.

Однажды он появился в школе в совершенно пьяном состоянии, улегся в дверях учительской и уснул. Здание милиции было напротив школы, Волю унесли в отделение, где он преспокойно проспался и отделался легким шутливым напутствием — всегда закусывать.

Посещение милиции на Волю подействовало оглушительно. Теперь при каждой встрече он неизменно гордился тем, что «тянул срок». Рассказывал о пыточном подвале «ментовки», где ему заламывали руки, отбивали почки, но он («сука буду!») никого не заложил, и вы, пацаны очковые, можете спать спокойно: за вами не придут и не повяжут.

За что нас «повязывать» мы, конечно, знали и были Воле благодарны, что он не раскололся.

«Денег нет, хоть вешайся!» — сказал он, как всегда присвистывая и пуская сквозь передние зубы длинную пенистую струю. Пришлось опоражнивать карманы, вытряхивать заначки: «Воле надо опохмелиться!»

Воля опохмелялся своеобразно: на те нищие деньги, что он смог у нас наскрести, можно было купить разве что порошок в нашей районной аптеке, куда мы носили собранную на колосьях ржи спорынью, которая тогда высоко ценилась.

В школе нам говорили, что этот крошечный паразит способен уничтожить урожай зерновых за короткое время и задача пионеров и школьников на хлебных полях — собирать затерявшуюся в колосках спорынью и сдавать в аптеку. За спорынью в то время хорошо платили, и мы с удовольствием выбирали из тощих колосков черных паразитов, чтобы потом, скооперировавшись, отнести в аптеку и получить деньги за свой детский труд.

Грибок этот крошечный, больше похожий на блоху, чем на гриб. Чтобы собрать чайный стакан этого паразита, надо было ходить по полю целый день пионерскому отряду — и неизвестно при этом, кто больше вредил урожаю: спорынья или мы.

Полученные деньги тратились по назначению на нужды пионерии, но часть денег получали на руки и мы — на кино и на морс.

Морс — напиток детства, мы пили с большим удовольствием.

«Клапана горят!» — морщась, сказал Воля и отправился в аптеку за углом.

Какие клапана и почему они горят — нам было любопытно, и мы потянулись за Волей.

Через несколько минут Воля вышел из аптеки, оглянулся по сторонам и, увидев нас, широким жестом достал из кармана пузырек с какой-то жидкостью, свинтил пробку, картинно закинул голову, вливая в себя содержимое склянки.

— Тише, Воля лечится! Лечится Воля! — пронеслось среди нас.

— Падлой буду! — подошел, сплевывая под ноги, наш общий друг.

Было видно, что похмелька ему пошла не на пользу: лицо его искривилось и выражало крайнюю степень отвращения.

— Фанфуик, сука, не тот! — сблевав под ноги, спокойно утерся рукавом Воля. — Я эту богадельню, — указал он на аптеку, — когда-нибудь сделаю!

Как он будет «делать» аптеку, мы не знали, но все-таки интересно. Надо посмотреть...

Аптеку он, конечно, не «сделал», мощей не хватило, но кое-что ему удалось.

Воле у нас в глухом черноземном селе воровать и вести самую жизнь, полную романтики и приключений, было негде: масштабы не те. Самое большое событие для местных органов правопорядка была кража самогонки у тети Фени, бабы вдовой и острой на язык. Если прицепилась — вырезай с кожей, иначе не отвяжется. Еще ходила такая поговорка: «Пошел ты к едрене Фене!» В смысле — иди куда шел!

Так вот милиция эту кражу повесила на самую тетю Феню, мол, сама выплеснула в огород самодельный алкогольный продукт, чтобы уйти от ответственности.

Какие в Бондарях воры? Какие блатхаты? Какие малины? На все Бондари — один малиновый куст, и тот в милицейском палисаднике. Как пожгли за время войны сады, так и пустуют задворья, некогда сельчанам баловством заниматься, да и некому. Остались бондарские мужики на чужих полях, укрытые лебедой да молочаем...

Но это к рассказу о Воле никакого отношения не имеет. Так, вспомнилось и осталось...

Воле благовать негде и не с кем. Может быть, он перегорел бы в своих желаниях, да тут, как на грех, завезли в кинобудку индийский фильм «Бродяга». Вот это жизнь! «Я буду грабить, воровать и убивать!» — красиво говорил, поигрывая ножом, Джага, настоящий индийский вор в законе. Вот это романтика!

Фильм крутили больше месяца, и на каждом сеансе, сжимая от восторга маленькие кулачки, сидел Воля, в котором жили и выжигали сердце Джага и русский Жиган. Мы тоже тянулись в клуб за Волей и тоже с восторгом пели: «Авара я, авара я! Никто нигде не ждет меня. Не ждет меня...»

Ничего не скажешь — хороший фильм, с танцами, с песнями, с индийской экзотикой и с индийской же sentimentalностью. Добро побеждает!

Но, как показали последующие события, Воля понял фильм совершенно по-своему. Он даже жесты и мимику главного героя перенял. Воля как будто даже попрос. Одним словом, фильм нашел своего героя.

В Бондарях все было или старалось быть, как в городе. На центральной улице, расплосовавшей районный поселок на две ровных части, стояли торговые заведения на все случаи жизни: перво-наперво, чайная — головная боль местных женщин, — магазин скобяных товаров, продуктовый магазин, магазин промышленных товаров и на отшибе, в низком, старинной каменной кладки, здании с маленькими окнами-бойницами находился книжный магазин, в котором мы покупали разные школьные принадлежности.

Магазин этот в летний зной заманивал к себе устоявшейся прохладой, полумраком, в котором стройными рядами теснились еще не прочитанные нами книги, под стеклом витрины поблескивали перочинные ножи всевозможных видов, в продолговатых коробочках лежали авторучки — мечта каждого школьника: нам в то время разрешалось писать только стальными перьями, которых здесь было также неисчислимое множество разных видов. Перья часто ломались, терялись, проигрывались в разные игры, поэтому школьники были здесь самыми многочисленными покупателями.

Мне со страхом понравилась записная книжка в красной кожаной обложке, что я однажды, скопив деньги, с утра пораньше, перед самым открытием магазина, поспешил туда: мало ли кому может тоже понравиться это чудо. К тому времени я уже всюду писал стихи, вдохновленный Алексеем Кольцовым и Иваном Никитиным, почти моими земляками. Рифмовал все подряд: кошку с ложкой, ложку с мошкой. Получалось вроде складно, а ребята смеялись и обзывали меня рифмоплетом, поэтому до поры до времени я решил записывать стихи в такую красивую книжницу, чтобы потом на литературном вечере в школе получить за это первое место.

Была, была у меня в ту пору заветная тайная любовь, ради которой стоило бы постараться написать талантливо и получить приз.

Возле магазина в тревожном ожидании толпились люди.

Два милиционера с собакой лишь только усиливали чувство тревоги — что-то случилось? Я подошел поближе. Один из милиционеров так подозрительно посмотрел на меня, что я, съезжившись под его взглядом, хотел было повернуть обратно, но он гнутым прокуренным указательным пальцем требовательно помянул к себе.

Я, робея неизвестно от чего, подошел к нему на ватных ногах.

Он, обхватив меня руками, несколько раз повернул вокруг себя, потом достал из синих галифе складной метр и стал обмерять мои плечи, потом голову, потом дотянулся до крохотной, как в скворечнике, врезанной в старинную дубовую раму форточке, обмерил ее и легким пинком под зад проводил меня домой:

— Дуй, пацан, отсюда! Не мешай работать!

Поползли страшные слухи, что воровская банда «Черная кошка» из Тамбова совершает налеты на районные центры: грабят всех подряд, вырезают целыми семьями. Вот, говорят, на днях проиграли в карты молодую девушку и зарезали прямо днем на рынке. Сунули нож в живот и повели ее, вроде пьяная она. Мол, видите, бабоньки, водки нажралась и домой идти не хочет, тварь! А девонька та студенткой была, одна у матери, хорошенькая... Воры отыгрались, несчастную убиенную ни за что похоронили, а мать в сумасшедший дом поместили. От горя рассудком тронулась. Такие вот дела за грехи наши тяжкие! Теперь вот магазин обокрали. Говорят, будут дома поджигать по нечетной стороне улицы. Сгорят Бондари! Как пить дать, сгорят! Вот она, беда-то! Война, почитай, мимо прошла, а от банды не спашься! Проиграют в карты и — на нож, или подпалят! А милиция? Какая милиция! Она их сама боится!

Слухи поползли — один страшнее другого. В нашем тихом селе ничего подобного никогда не происходило. Обокрасть магазин мог только представитель «Черной кошки», о которой в то время много говорили. Эта банда, раздутая молвой, в Тамбове давно уже не существовала. Всех или перебили, или пересажали. Последнего вытащили из склепа на городском кладбище, где он прятался сразу после войны, так что слухи о возвращении банды были напрасными.

Слухи слухами, но ведь кто-то действительно ограбил магазин школьных товаров. Украли, правда, немного: десятка два авторучек, три перочинных ножа, две записных книжки, да еще зачем-то унесли готовальню для чертежных работ. Сам начальник милиции, присланный недавно в район, долго ломал голову: что это за вор такой? Взял на десять рублей, а наследил на все сто...

Но следствие вести надо.

Воля в эти дни был счастлив как никогда. Пришел к нам в школу в чистой рубахе и с подарками. Мне досталась та заветная записная книжка для гениальных стихов и перочинный ножик, другие тоже что-то получили. На вопрос, где это он все взял, Воля загадочно улыбался, мол, подождите, потом узнаете!

Мы со страхом догадывались: Воля, Воля ограбил магазин!

Ходили тоже гордые, тоже причастные к великой воровской тайне.

— Меня скоро заметут! — мечтательно говорил на другой день начинающий воровскую карьеру бондарский подкидыш. — Зуб даю, заметут! — Выразительно цеплял ногтем большого пальца острый, как у мышки, зубок и резко проводил ногтем по горлу: — Заметут!

Действительно, в обед к школе подъехала милицейская машина, хотя милиция была напротив, и погрузили Волю по всем правилам в фургон.

Подарки, которые он нам дарил, служители порядка велели принести в отделение милиции самостоятельно и, гнусаво посигналив, благополучно отбыли.

Начальник милиции, увидев Волю, наконец-то расслабился:

— Ну-ка, покажи свое мастерство!

Маленькая форточка в отделении милиции была точно такой же, как и в книжном магазине. Воля показал глазами, чтобы ему развязали руки.

— Развяжите! — приказал начальник.

Воля спокойно подошел к окну, посмотрел, легко вспрыгнул на подоконник и рыбкой нырнул в узкий квадратный проем форточки. Один из милиционеров рванулся было на улицу — убежит негодяй! Но начальник остановил его рукой:

— Не убежит!

Воля радостно вернулся в дежурку:

— Видали?

— А то нет! — сказал начальник и велел поместить Волю в единственную камеру, освободив ее от разного хлама, оставшегося еще с тех давних времен, когда вместо милиции здесь находился магазин хозяйственных товаров, отчего в милиции всегда пахло дегтем и ржавым железом.

Волю судили открытым судом. По такому праздничному случаю нас освободили от уроков и коллективно проводили в районный клуб, где состоялось выездное заседание суда. Было многолюдно, но тихо. В те времена к суду было особое отношение, наполненное государственным страхом и чрезвычайной осторожностью. Память еще живо реагировала на всякое казенное слово.

В клубе, кажется, собралось все село. Вытянув шеи, смотрели на сцену, где блаженствовал Воля. Чувствуя свой звездный час, он ликовал. Охотно и с подробностями рассказал, как проник ночью в магазин, как на ощупь взял с витрины, что пошло под руку, и не спеша вылез обратно.

На вопрос, крал ли он у тети Фени флягу с самогоном, Воля с достоинством на весь зал ответил, как прочитал по газете:

— В краже спиртных напитков не участвовал!

За что получил неуместные аплодисменты некоторых бондарских мужиков.

Когда зачитывали приговор, определяющий на пять лет судьбу Воли, он даже привстал со скамьи, улыбаясь во весь рот — наконец Воля что-то значит для закона!

Все разошлись по своим делам. В пустом зале районного клуба еще долго сидела в горьком одиночестве под черной накидкой та пожилая женщина, с которой жил Воля, громко выговаривая какие-то незнакомые слова на чужом языке.

Но Воле за решеткой долго сидеть не пришлось. Полное досрочное освобождение он получил благодаря неизлечимому туберкулезу, полученному в лагере. Слабый организм не смог побороть палочку Коха, постоянного и вечного сокамерника всех мест заключения.

Волю похоронили на бондарском кладбище рядом с его сердобольной хозяйкой. Не дождалась она своего приемыша, но теперь они навсегда вместе под одним православным крестом, поставленным несмотря на атеизм властей кем-то из местных жителей.

Так вот.